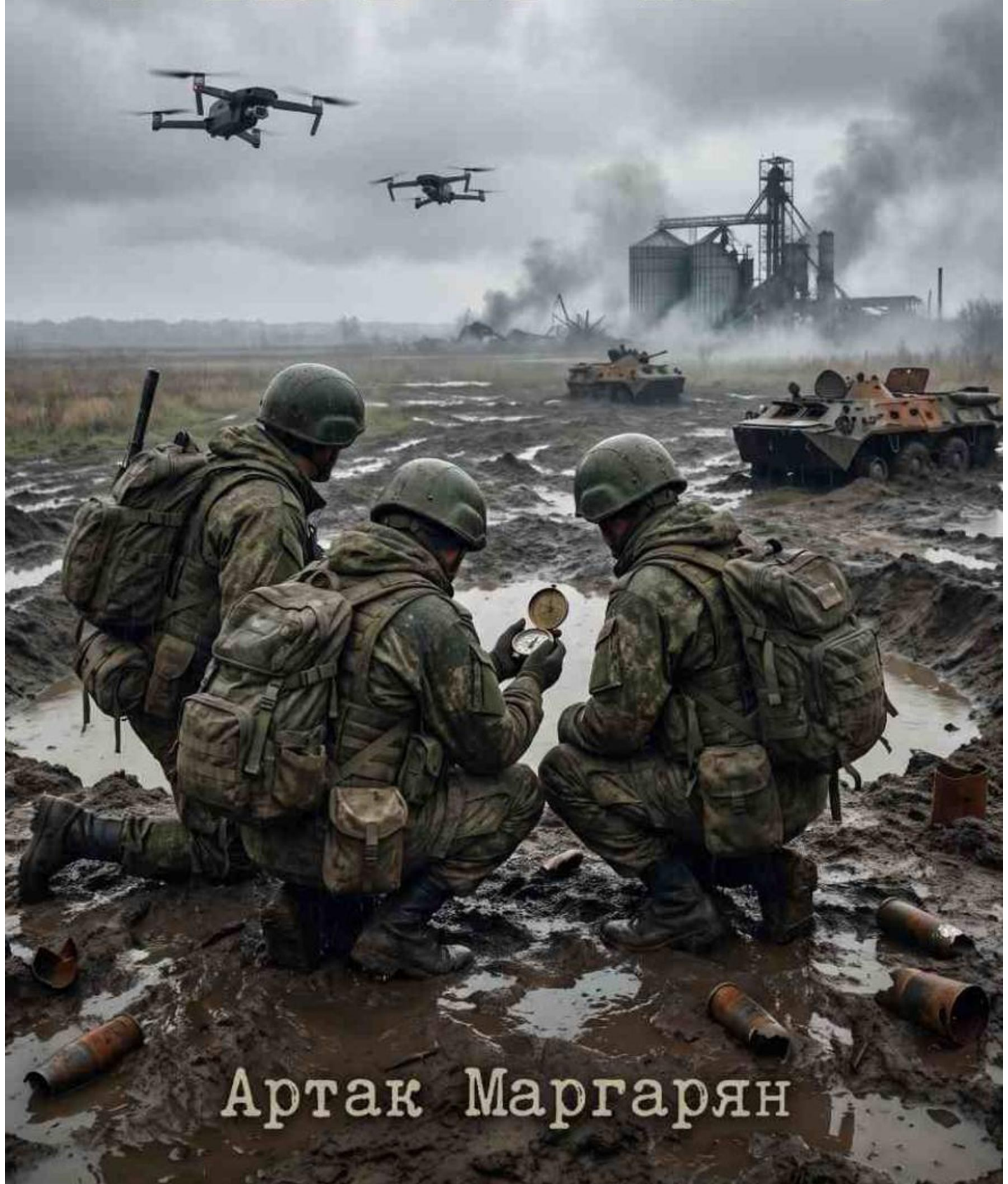


# АЗИМУТ



Артак Маргарян

Артак Маргарян

**АЗИМУТ**

«Автор»

2026

## **Маргарян А.**

Азимут / А. Маргарян — «Автор», 2026

Март 2025-го. Разведчики «Якут», «Моряк» и «Дед» заходят на позиции под Огурцово. Их оружие — компас, секундомер и тетрадь. Семь километров грязи под дронами отделяют их от Новой Таволжанки. В блиндаже, в пятидесяти метрах от братьев-чеченцев, которых каждую ночь бомбит «Баба Яга», они считают секунды между выстрелом и разрывом, определяют азимут на слух и наводят артиллерию. FPV-дроны не дают выйти даже в туалет. Еды и воды не хватает. На плечах — полсотни килограммов брони. Это невыдуманная история о бытовой правде войны, где нет пафоса, но есть подвиг ожидания. Артак Маргарян прошёл этот путь сам. «Азимут» — направление на дом сквозь грязь, смерть и жужжание «птиц». «Слава тем, кто не вернулся. Слава тем, кто всё ещё там. И тем, кто ждёт».

© Маргарян А., 2026

© Автор, 2026

# Артак Маргарян

## Азимут

### Оглавление

- Глава первая. Середина
- Глава вторая. Огурцово
- Глава третья. Блиндаж
- Глава четвёртая. Чеченцы
- Глава пятая. Птицы
- Глава шестая. FPV
- Глава седьмая. Танк и миномёты
- Глава восьмая. Секунды
- Глава девятая. Азимут
- Глава десятая. Четырнадцать дней
- Глава одиннадцатая. Элеватор
- Глава двенадцатая. Чужой элеватор
- Глава тринадцатая. Вода и тушёнка
- Глава четырнадцатая. Ночные сбросы
- Глава пятнадцатая. Чужие
- Глава шестнадцатая. Окружение
- Глава семнадцатая. Две недели на нервах
- Глава восемнадцатая. Мураган
- Глава девятнадцатая. Семь километров
- Глава двадцатая. Жужжание на границе
- Глава двадцать первая. Своими силами
- Глава двадцать вторая. Пятьдесят килограммов
- Глава двадцать третья. Точка
- Послесловие автора

---

### Глава первая. Середина

Март пахнет сырой глиной и ржавым железом. Небо над Новой Таволжанкой низкое, будто кто-то натянул грязный брезент от края до края. На окраине — трое. Стоят в грязи по щиколотку, вдавленные в небо чужим жужжанием.

«Птицы». Много. Звук и силуэт сливаются в одну непрерывную угрозу — она то удаляется, то наливается над самой головой, отчего хочется вжать голову в плечи, но нельзя. Небо принадлежит им, а земля — ничья. Ничья, но мы по ней идём.

Трое разведчиков. «Якут», «Моряк», «Дед». Переход границы — семь километров чужой, израненной земли. Идём днём, и в этом есть своя обречённая честность: всё как на ладони, и ты, и те, кто сверху. Смотреть только под ноги. Там не только грязь.

«Баба Яга» ночью отработала щедро. «Лепестки» лежат в лужах, замытые дождём, почти незаметные в бурой каше. Почти. Я смотрю на них уже автоматически — мозг научился раз-

личать контур раньше, чем сознание успевает подать сигнал тревоги. Каждый шаг — выбор. Ошибиться нельзя.

Чавкает грязь, тянет сапоги. За спиной дышат «Моряк» и «Дед». Мы не разговариваем. Привыкли. Слов не нужно, когда идёшь втроём уже не первую ходку. Я знаю, как дышит «Моряк» — с лёгким присвистом, старая контузия. Знаю, как ступает «Дед» — тяжелее всех, но и тише всех, парадокс.

Где-то на середине пути я поднимаю руку.

Они замирают мгновенно. Без вопросов. Доверие, выработанное месяцами, когда вопрос стоит секунды, а ответ — жизни. Я вглядываюсь в серую морось горизонта. Там, где грязь встречается с небом, что-то движется. Не «птицы» — те наверху. Это там, на земле. Силуэты.

Через минуту они проступают яснее. Встречные. Парни идут нам навстречу, и по тому, как они двигаются — тяжело, с остановками, — я понимаю всё ещё до того, как различаю детали.

Эвакуация. Раненые.

Мы сближаемся. Дорога здесь — громкое слово. Скорее, колея, разбитая техникой и замешанная в жижу до состояния густого супа. Я различаю носилки — гибкие, брезентовые, те самые, что режут руки и сворачиваются в моток, но тащить на них человека по такой грязи — работа для каторжных.

А ещё я вижу миномётчиков.

Они идут отдельно, чуть в стороне. Не согнутые под ящиками, как я ожидал, — нет. У них обычные рюкзаки, армейские, потрёпанные. Но я знаю, что внутри. Мины. Упакованы в рюкзаки, потому что так тише, потому что руки свободны, потому что нести можно больше. Они идут как мулы — методично, глядя только под ноги, с перекошенными от напряжения лицами. Лямки врезаются в плечи, рюкзаки оттягивают назад, и каждый шаг даётся им как маленькая победа над собственным позвоночником.

Мы встречаемся на середине. Той самой точке, где семь километров делятся пополам, где до цели столько же, сколько от точки выхода.

Несколько минут мы стоим лицом к лицу. Молча. Слышно только дыхание — натруженное, с хрипотцой, с присвистом. Кто-то из наших, кажется, «Дед», поправляет лямку на плече миномётчика — просто молча берёт и перекидывает так, чтобы меньше давило. Тот кивает, даже не поднимая глаз, и в этом кивке больше благодарности, чем в иных речах.

Раненый на носилках не стонет. Он в сознании или нет — не разобрать. Лицо серое, бинт насквозь мокрый не то от дождя, не то от крови. Те, кто его несут, не просят помощи. Они просто перехватывают рукояти носилок поудобнее, и я вижу, как пальцы у них сведены судорогой, как побелели костяшки.

Я смотрю на них. На миномётчиков с их рюкзаками, на раненого, на тех, кто его тащит. И я понимаю: они выходят оттуда, куда мы идём.

Это всё, что мне нужно знать. Не спрашиваю. Они не спрашивают тоже. Только один из миномётчиков — совсем молодой пацан с грязным лицом, на котором глаза кажутся огромными — вдруг поднимает голову и говорит осипшим голосом:

— Там... нормально. Почти.

И я понимаю: врёт. Потому что если бы было нормально, он бы не выглядел так. Но я киваю. Мы все киваем. Потому что это правило: ты выходишь, ты говоришь «нормально». Даже если там \*\*\*\*\*. Даже если «почти».

Мы расходимся. Они — в тыл. Мы — дальше.

«Птицы» всё ещё висят над головой. Грязь всё так же тянет сапоги. «Моряк» за моей спиной поправляет автомат, и я слышу, как он тихо, почти про себя, говорит:

— Мулы...

И я знаю, о ком он. Не о животных. О парнях с рюкзаками, полными мин.

Мы идём дальше. Середина пути пройдена. Впереди ещё три с половиной километра, и я знаю: там будет всё то же самое. «Птицы», грязь, «лепестки» и кто-то, кто выйдет нам навстречу. Или не выйдет.

Март. Новая Таволжанка. Мы идём.

---

Глава вторая. Огурцово

Огурцово встретило нас тишиной. Не той, что бывает в лесу или в поле — живой, с ветром и птицами. А мёртвой. Такой тишиной, когда кажется, что само пространство затаило дыхание и ждёт.

Мы вышли к селу затемно, хотя шли весь остаток дня без остановок. Мартовский свет обманывает: вроде бы ещё день, а уже начинает сереть, и через час — темень, хоть глаз выколи. Окрина Огурцово проступила из сумерек неровной линией: где-то остовы домов, где-то просто печные трубы, торчащие как памятники. Пахло гарью. Не свежей — старой, ввевшейся в землю и кирпич.

«Дед» остановился первым. Остановился и сплюнул. Я знал эту его привычку: когда он видел что-то, что ему не нравилось, он сплёвывал — коротко, резко, будто ставил точку.

— Огурцово, — сказал он негромко.

И в этом слове было всё. Мы слышали про Огурцово. Слышали, что здесь плотно. Что село переходит из рук в руки. Что каждая хата — позиция, каждый огород — минное поле.

«Моряк» молча стянул перчатки. Руки у него были красные, обветренные. Он подул в ладони и тихо, почти беззлбно, выругался. Не от холода. От того, что ждало впереди.

Мы вошли в село не через дорогу — через огороды. Дороги здесь были пристреляны, это знали даже те, кто попал сюда впервые. Мы шли цепочкой, след в след, как учили. Я — первый. За мной «Моряк», потом «Дед». Под ногами хлюпала раскисшая земля, перемешанная с битым кирпичом и чем-то, что лучше не разглядывать.

Огурцово было пустым. Но пустым — не значит безопасным. Пустота здесь была особого рода: казалось, что из каждого тёмного окна, из каждого пролома в заборе за тобой следят. Может, и следят. Мы не проверяли.

Первый дом, куда мы зашли, стоял на окраине — вернее, то, что от него осталось. Крыша провалилась, стены держались чудом. Внутри — битое стекло, обломки мебели, обгоревшие тряпки. И запах. Сладковатый, тяжёлый. Мы не стали там задерживаться.

— Здесь ночевать не будем, — сказал я.

«Моряк» кивнул. «Дед» промолчал. Он вообще стал молчаливее после Таволжанки. Может, возраст. Может, опыт. Может, просто устал.

Мы двинулись глубже в село. Где-то вдалеке работала арта — глухо, размеренно, как сердцебиение огромного зверя. Мы не вздрагивали. Привыкли. Привыкли к тому, что смерть здесь — не событие, а процесс. Фоновый шум.

Я шёл и думал о тех парнях, которых мы встретили на середине пути. О миномётчиках с рюкзаками. О раненом на гибких носилках. Интересно, дошли они? Успели до темноты? Или «птицы» всё-таки заметили движение и отработали?

Нельзя об этом думать. Не сейчас. Сейчас — Огурцово.

«Моряк» тронул меня за плечо. Я обернулся.

— Смотри.

Он показал на землю. В грязи, прямо перед нами, был свежий след. Не наш. Чужой. Кто-то прошёл здесь недавно. Может, час назад. Может, меньше.

«Дед» присел, провёл пальцем по краю отпечатка. Поднял глаза на меня.

— Лёгкий. Один. Вон туда, — он кивнул в сторону полуразрушенного сарая метрах в пятидесяти.

Мы переглянулись. Одинокий след в Огурцово мог означать что угодно. Местный житель, который не ушёл. Диверсант. Такой же разведчик, как мы. Или приманка.

— Проверим, — сказал я.

Мы двинулись к сараю медленно, рассредоточившись. «Дед» ушёл левее, «Моряк» — правее, я пошёл прямо. Грязь чавкала под ногами, и мне казалось, что этот звук слышен за километр. «Птицы» над головой, кажется, сместились южнее — жужжание стало тише. Но это ничего не значило. Они всегда возвращаются.

Сарай был старый, кирпичный, с провалившейся крышей. Дверь висела на одной петле. Я вошёл первым. Внутри — полумрак, пахнет прелой соломой и мышами. И ещё чем-то. Свежим. Человеческим.

В углу, на куче тряпья, кто-то лежал.

Я вскинул автомат. «Моряк» зашёл следом, взял левее. «Дед» остался снаружи — прикрывать.

— Вставай, — сказал я негромко.

Тряпье зашевелилось. Из него показалось лицо. Женское. Старое. Лет семьдесят, а может, и больше — трудно определить возраст у тех, кто пережил столько, сколько эти стены.

Бабка. Самая настоящая. В платке, в телогрейке, закутанная в какие-то одеяла. Она смотрела на нас без страха. Просто смотрела — устало, спокойно, будто мы были не первыми вооружёнными людьми, которые зашли в этот сарай за последний год.

— Живая, — констатировал «Моряк» с облегчением.

— Живая, — подтвердила бабка скрипучим голосом. — А вы, сынки, чьи?

Мы переглянулись. Хороший вопрос. Чьи? Наши. Свои. Но как объяснить это старому человеку, который видел здесь всех — и тех, и этих, и непонятно кого?

— Свои, бабушка. Свои, — сказал я.

Она кивнула. То ли поверила, то ли ей было уже всё равно.

— Есть кто ещё в селе? — спросил я.

— Кто был — ушли. Кто не ушёл — лежат. Я одна. Собаку мою в прошлом месяце убило. Осколком. Хорошая была собака...

Она говорила об этом буднично, как говорят о погоде. И от этого становилось только страшнее.

«Дед» зашёл внутрь. Посмотрел на бабку, на нас, на убогую обстановку сарая.

— У неё вода есть? — спросил он.

— Есть, — бабка показала на пластиковую бутылку в углу. — Дождевая. Чистая.

Мы дали ей свои запасы: галеты, банку тушёнки, ещё воду. Она приняла без благодарностей, просто кивнула. Здесь благодарность — это когда ты просто остаёшься жив. Слова не нужны.

— Уходить тебе надо, бабушка, — сказал «Моряк». — Здесь скоро опять жарко будет.

— Куда мне уходить? — она усмехнулась беззубым ртом. — Я здесь родилась. Здесь и помру. Это вы идите. Вам ещё жить.

Мы вышли из сарая. Смеркалось окончательно. «Птицы» снова наливались жужжанием где-то на востоке. Нам нужно было найти укрытие на ночь, выставить наблюдение и ждать рассвета.

— Странная бабка, — сказал «Моряк», когда мы отошли. — Не боится.

— А чего ей бояться? — ответил «Дед». — Она уже всё пережила. Страх — он для молодых. Для тех, кому есть что терять.

Я промолчал. Думал о том, что сказала бабка: «Здесь и помру». И о том, что она, наверное, единственный живой человек на всё Огурцово. И о том, что завтра здесь действительно будет жарко.

Мы нашли подвал под разрушенным домом — сухой, с одним входом, с возможностью быстро уйти через пролом в стене. Выставили очерёдность дежурств. «Дед» — первый. Мне — спать. Я лёг на спальник, закрыл глаза.

Перед внутренним взором встала картина: бабка в сарае, миномётчики с рюкзаками, раненый на носилках, «лепестки» в грязи Новой Таволжанки. Март. Распутица. Мы.

Я заснул под глухие раскаты арты и жужжание «птиц». Завтра будет новый день.

---

### Глава третья. Блиндаж

Ночь в Огурцово — это особый вид темноты. Густой, вязкой, без единого огонька. Даже луна в марте здесь какая-то не своя: то выплывет, то спрячется за тучами, будто сама боится того, что видит внизу. Тишина рваная: то затихнет всё до звона в ушах, то где-то далеко ухнет, то «птица» пропилит небо над самой головой, и ты замираешь, считая секунды.

Мы провели в том подвале остаток ночи. Холодно. Мартовский холод — он особенный, не зимний уже, но ещё и не весенний. От земли тянет сыростью, от стен — ледяным дыханием. Спали по очереди. Вернее, спали — громко сказано. Лежали с закрытыми глазами, проваливаясь в какое-то полузабытьё, когда сон и явь мешаются в один тревожный ком.

Первым на рассвете поднялся «Дед». Он вообще мало спал. Возраст, говорил он, но я знал, что дело не в возрасте. Просто он привык быть начеку. Привык так давно, что это стало частью его самого — как дыхание, как сердцебиение.

— Пора, — сказал он негромко.

«Моряк» открыл глаза сразу, будто и не спал вовсе. Мы собрались быстро, без суеты, отработанными движениями. Спальники — в рюкзак. Вода — проверить, сколько осталось. Боекомплект — пересчитать. Всё это занимало минуты, но в эти минуты ты не просто готовишься к движению. Ты возвращаешь себя в реальность, в своё тело, в задачу.

Задача у нас была простая: блиндаж и наблюдательный пункт.

Эти две точки держали наши. Мы должны были туда выйти, сменить тех, кто сидел там до нас, и занять позицию для наблюдения. Огурцово с этого направления просматривалось как на ладони, и тот, кто контролировал эту высотку с блиндажом, контролировал подходы к селу.

Мы вышли затемно, чтобы успеть до рассвета. Утро — самое опасное время. Тот, кто меняет позицию на рассвете, рискует попасть под первую «птицу». Мы спешили.

Шли через огороды. Те же огороды, что и вчера. Грязь немного подмёрзла за ночь, но сверху схватилась тонкой корочкой, которая предательски хрустела под ногами. Каждый хруст — как выстрел. Я шёл и считал: шаг, хруст, шаг, хруст. «Моряк» за спиной дышал ровно. «Дед» замыкал.

Где-то на середине пути я снова увидел следы. Не вчерашние. Свежие. Кто-то прошёл здесь ночью. Может, наши. Может, нет.

Я показал жестом. «Моряк» кивнул — понял. «Дед» чуть сместился левее, взял сектор. Мы шли уже не цепочкой, а веером, готовые в любую секунду рассредоточиться и принять бой.

Но ничего не случилось. Следы ушли куда-то вправо, в сторону леса. Мы продолжили прямо.

Блиндаж показался из-за пригорка внезапно. Хорошо замаскированный, врытый в склон холма так, что заметить его можно было только вплотную. Дверь — простая, деревянная, но укреплённая изнутри. Сверху — накат из брёвен, присыпанный землёй и пожухлой травой.

Я постучал условным стуком: три коротких, один длинный.

Тишина. Потом шаги. Дверь приоткрылась.

— Якут? — голос из темноты.

— Он самый. Открывай.

Дверь распахнулась. На пороге стоял парень с позывным «Кубань». Мы знали его по прошлым выходам. Хороший пацан, надёжный. За его спиной, в полумраке блиндажа, я разглядел ещё двоих.

— Заходите. Мы вас ждали.

Внутри блиндаж был тесным, но обжитым. Земляные стены, дощатый пол, пара лежаков из досок и матрасов. Стол — ящик из-под снарядов. На столе — газовая горелка, кружки, вскрытая банка тушёнки. Пахло соляжкой, потом и чем-то кислым. Но главное — тепло. После мартовской сырости это казалось раем.

— Как обстановка? — спросил я, скидывая рюкзак.

— Тихо пока, — «Кубань» протянул мне кружку с горячим чаем. — Вчера работала арта по квадрату восточнее. Прилёты были. А так — тишина.

«Моряк» и «Дед» зашли следом, расселись. «Кубань» начал докладывать: сектора наблюдения, сектора обстрела, что видели, что слышали. Я слушал и параллельно осматривал блиндаж. Всё по уму: стены укреплены, бойницы замаскированы, выход на запасную позицию — через лаз в дальней стене.

— Наблюдательный пункт где? — спросил я.

— Выше по склону, метров сто, — «Кубань» показал рукой направление. — Там окоп, прикрытый ветками. Оттуда всё Огурцово видно. И подходы.

— Засекли вас?

— Да вроде нет. Но «птицы» последние дни часто летают. Прямо над головой. Мы днём стараемся не высываться.

Я кивнул. Это было правильно. Днём блиндаж становился нашей норой, нашей берлогой. Наблюдение — только в сумерках и на рассвете, когда «птицам» труднее разглядеть движение.

«Кубань» с ребятами начали собираться. Им нужно было уходить затемно, пока небо чистое. Мы попрощались коротко, по-мужски: хлопок по плечу, кивок. «Удачи». «И вам».

Когда они ушли, в блиндаже стало как-то особенно тихо. Только мы трое. Я, «Моряк», «Дед».

— Ну что, обживаемся, — сказал «Моряк» и растянулся на лежаке. — Почти как дома.

— Ага, — хмыкнул «Дед». — Только удобств нет и могут убить в любой момент.

— Зато чай горячий.

Мы замолчали. Потом «Дед» сказал то, о чём я думал, но не говорил вслух:

— Надо проверить НП. Засветло. Пока «птиц» нет.

Я кивнул. Встал. Размял затёкшие плечи.

— Я схожу. Вы пока здесь обустройтесь.

— Один не пойдёшь, — отрезал «Моряк» и тоже поднялся.

— Я с тобой, — «Дед» уже натягивал разгрузку.

Мы вышли из блиндажа. Рассвет только начинал разгораться — серый, мутный, но уже обещающий день. Склон поднимался круто. Мы пошли вверх, к наблюдательному пункту.

До него действительно было метров сто. Но каких. Подъём по раскисшей глине, скользкой и предательской. Ветки цеплялись за одежду. Где-то внизу лежало Огурцово — с высоты видно было его рваный силуэт, остовы домов, трубы, чёрные провалы окон.

НП был оборудован грамотно: окоп с накатом из брёвен, сверху маскировочная сеть, вплетённая в ветки деревьев. Смотровая щель, широкая и удобная. Я приник к ней и осмотрел сектор.

Огурцово лежало передо мной как на ладони.

Пустое. Мёртвое. Но где-то там, среди развалин, ещё жила та самая бабка. И где-то там, возможно, бродили те, чьи следы мы видели ночью. И где-то там, наверняка, сидели в таких же блиндажах и подвалах другие — те, кто смотрит на Огурцово с другой стороны.

— Чисто? — спросил «Моряк» за спиной.

— Пока чисто.

— Это ненадолго, — пробормотал «Дед». — Всегда так: тихо, тихо, а потом...

Он не договорил. Да и не нужно было. Мы все знали, что «потом».

Я ещё раз осмотрел горизонт. Где-то далеко, за лесом, поднимался дым — то ли костёр, то ли прилёт. «Птиц» пока не было слышно. Но это тоже было ненадолго.

— Возвращаемся, — сказал я.

Мы спустились обратно в блиндаж. Заварили чай. Сели вокруг ящика-стола. Впереди был день. Долгий, серый, полный ожидания. Нужно было выставить график дежурств на НП, проверить связь, подготовить снаряжение.

Но это всё — потом.

Сначала чай. Горячий, крепкий, почти чёрный. Мы пили его молча, и каждый думал о своём. Я — о доме. «Моряк», наверное, о море. «Дед» — о том, что он пережил и что ещё предстоит.

Огурцово ждало. Март тянулся бесконечно. Мы были здесь. Трое. «Якут», «Моряк», «Дед».

---

Глава четвёртая. Чеченцы

Блиндаж — это не только стены и крыша. Это соседи. И от того, кто у тебя под боком, зависит порой больше, чем от толщины наката.

В пятидесяти метрах от нас, чуть ниже по склону, стоял ещё один блиндаж. Мы знали о нём с самого начала, ещё когда «Кубань» докладывал обстановку. Но одно дело — знать, другое — увидеть и услышать.

Там держали позицию чеченцы.

Мы столкнулись с ними на второй день, когда я пошёл проверять сектора. Вылез из нашего лаза, поднялся по склону, и вдруг слышу — голоса. Негромкие, гортанные. Я замер. Потом из кустов вышел парень — невысокий, бородатый, в камуфляже, с пулемётом. Увидел меня. Остановился.

Мы смотрели друг на друга секунду. Потом он улыбнулся — широко, открыто, сверкнув зубами.

— Ассалам алейкум, — сказал я первое, что пришло в голову.

— Ваалейкум ассалам, — ответил он и кивнул. — Ты Якут?

— Он самый.

— Мансур, — представился он и протянул руку.

Рукопожатие у него было крепкое, сухое. Потом из блиндажа выглянули ещё двое. Так мы познакомились.

Их было пятеро. Все из одного батальона, все опытные, прошедшие не одну кампанию ещё до этого. Командир — Ахмед, здоровенный мужик с седой бородой и спокойными, как у всех, кто много видел, глазами. Потом Мансур, Сулим, Иса и молодой парнишка, которого они называли просто Младший.

Мы быстро нашли общий язык. Чеченцы — они вообще особые. С ними либо сразу, либо никак. У них всё просто: если ты свой — ты брат. Если враг — разговор короткий. Мы оказались своими.

Вечером первого дня знакомства они пришли к нам. Принесли лепёшки — настоящие, испечённые где-то в тылу и привезённые с собой. И чай — не пакетированный, а рассыпной, пахучий, с травами. Мы сидели в тесном блиндаже, пили чай, говорили о всяком.

— Огурцово, — сказал Ахмед, помешивая чай в кружке. — Плохое место. Очень плохое.

— Ты здесь давно? — спросил «Дед».

— Две недели. Может, три. Я уже счёт потерял.

— А до того?

— А до того — везде, — он усмехнулся в бороду.

Ахмед говорил по-русски хорошо, но с акцентом — мягким, певучим. Он вообще был спокойным, даже медлительным. Но я знал: такие взрываются мгновенно и страшно.

— «Баба Яга» часто летает? — спросил «Моряк».

И вот тут все пятеро переглянулись. Мансур перестал улыбаться. Сулим что-то тихо сказал по-своему.

— Каждую ночь, — ответил Ахмед. — Как часы. Прилетает, сбрасывает, улетает. Иногда возвращается.

— Вас бомбит?

— Нас. Только нас. Ваш блиндаж почему-то не трогает.

Я переглянулся с «Моряком». Это было странно. Наши позиции — в пятидесяти метрах друг от друга. Если бы «Баба Яга» хотела накрыть весь склон, она бы клала и туда, и туда. Но нет. Бомбила прицельно.

— Может, засекли? — спросил я.

— Может, — Ахмед пожал плечами. — А может, просто судьба.

В первую же ночь я понял, о чём они говорили.

Мы как раз легли. «Моряк» заступил на дежурство, мы с «Дедом» спали. И вдруг — звук. Тот самый, который не спутаешь ни с чем: низкое, тяжёлое гудение. «Баба Яга». Она шла со стороны леса, и шла прямо на нас.

Я открыл глаза. «Дед» тоже. Мы лежали молча и слушали.

Гудение нарастало. «Моряк» вжался в бойницу, пытаясь разглядеть небо. Я чувствовал, как напряглось всё тело, как адреналин ударил в кровь. Но мы ничего не делали. Потому что делать было нечего. Только ждать.

И тут началось.

Первый разрыв — глухой, тяжёлый. Где-то совсем рядом. Я почувствовал, как вздрогнула земля под лежаком, как посыпалась пыль с потолка. Второй. Третий. Четвёртый.

Она клала мины методично, одну за другой. И все они ложились не у нас. Слева. Там, где в пятидесяти метрах сидели чеченцы.

— \*\*\*\*\*, — выдохнул «Моряк». — Опять.

Я подполз к бойнице. Через щель было видно только край неба и чёрные вспышки разрывов. Земля вздрагивала. Грохот стоял такой, что закладывало уши.

Это длилось минут десять. Может, пятнадцать. Потом гудение стало удаляться. «Баба Яга» уходила.

Тишина наступила не сразу. Сначала звон в ушах. Потом тишина. Страшная, звенящая.

— Надо проверить, — сказал я.

Мы вылезли из блиндажа. Ночь была тёмная, хоть глаз выколи. Пахло сгоревшей взрывчаткой, землёй и чем-то ещё — едким, химическим. Мы пошли к чеченцам.

Их блиндаж был цел. Но вокруг — лунный пейзаж. Воронки, перепаханная земля, сломанные ветки. Дверь приоткрыта. Изнутри — свет фонарика.

— Живые? — крикнул я, ещё не дойдя.

— Живые, — голос Ахмеда. Спокойный, даже слишком. — Заходите.

Они сидели внутри. Все пятеро. Целые, но оглушённые. У Младшего шла кровь из носа — контузило. Мансур держался за голову, но улыбался.

— Опять нас, — сказал он. — Видишь? Только нас.

— Может, переждёте у нас? — предложил «Дед».

Ахмед покачал головой.

— Нельзя. Если мы уйдём, они поймут, что попали. Пусть думают, что мы здесь. Пусть бомбят. Зато вас не трогают.

Я смотрел на него и не знал, что сказать. Это был какой-то особый фатализм, смешанный с гордостью. Они не жаловались. Не просили помощи. Они просто принимали это как данность: сегодня бомбят нас, завтра — вас, послезавтра — никого. Иншаллах.

— Давай чай пить, — сказал Ахмед. — Всё равно уже не уснём.

Мы сидели у них до рассвета. Пили чай с теми самыми лепёшками. Разговаривали. Вернее, говорили в основном они. Мы слушали.

Мансур рассказывал про Грозный — он был оттуда, из самого центра, и помнил всё: и первую войну, и вторую. Рассказывал, как мальчишкой прятался в подвале. Как потом восстанавливали город. Как вступал в батальон.

Сулим говорил мало, но когда открывал рот, все замолкали. У него был голос тихий, глухой, и он говорил вещи, от которых становилось не по себе. Про смерть. Про судьбу. Про то, что каждый получает ту пулю, которая ему написана.

Иса, самый молчаливый, просто сидел и чистил автомат. Но по тому, как он двигался — точно, скупое, — я видел: этот парень умеет всё, что нужно уметь на войне. И, наверное, многое из того, что на войне лучше не уметь.

Младший — пацан лет двадцати с небольшим — сидел с мокрым платком у носа и смотрел на нас. Он ещё не привык. Видно было по глазам: не привык. Но держался.

— Почему она вас бомбит? — спросил я Ахмеда под утро. — Вы не думали? Может, тепловой след? Может, связь засекают?

Ахмед пожал плечами.

— Мы думали. Меняли всё. Всё равно бомбит. Я тебе так скажу, Якут: может, они знают, что мы чеченцы.

— Думаешь, специально?

— Не знаю. Но мы для них — особый враг. Всегда были.

В этом была какая-то мрачная логика. Чеченские батальоны здесь, на этом направлении, действительно стояли плотно. И «птицы» действительно работали по ним как-то особенно зло. Может, совпадение. Может, нет.

Рассвет мы встречали вместе. Пятеро чеченцев и трое нас. Восемь человек на склоне холма над Огурцово. «Баба Яга» ушла. До следующей ночи.

— Приходите вечером, — сказал Ахмед на прощание. — У меня ещё лепёшки есть.

Мы вернулись в свой блиндаж. Усталые, но живые. «Моряк» лёг и сразу заснул. «Дед» сел у бойницы, закурил в кулак.

— Хорошие пацаны, — сказал он негромко.

— Хорошие, — согласился я.

— Жалко, если...

Он не договорил. Я не спросил. Мы оба знали, что «если» на войне — самое страшное слово. И самое неизбежное.

Каждую ночь потом прилетала «Баба Яга». Каждую ночь мы просыпались от гудения и взрывов. Каждую ночь шли проверять, живы ли. И каждую ночь они сидели в своём блиндаже, пили чай и улыбались.

Фаталисты. Воины. Братья.

Пятьдесят метров между блиндажами. Расстояние, которое можно пройти за минуту. И целая пропасть между нами и теми, кто там, наверху, решает, кого бомбить сегодня.

---

## Глава пятая. Птицы

«Птицы» — это не просто опасность. Это образ жизни. Это когда ты перестаёшь думать о небе как о небе. Небо становится крышей, которую в любой момент могут проломить.

В Огурцово они висели постоянно. Не улетали. Менялись, пересменялись, но над нами всегда кто-то был. Днём — одни, лёгкие, юркие, которые высматривают движение. Ночью — «Баба Яга», тяжёлая, гружёная, идущая на звук, на тепло, на что угодно.

И вот в этих условиях нужно было жить. Не воевать — просто жить. Есть, пить, спать. И да — ходить в туалет.

Об этом не пишут в сводках. Не говорят в репортажах. Но это та самая бытовая сторона войны, которая выматывает не меньше, чем обстрелы. Потому что человек — существо с потребностями, и никуда от них не деться. А когда над тобой висит смерть, даже самое простое действие превращается в операцию.

Первые дни в блиндаже мы ещё пытались выходить. Блиндаж — не дом, удобств нет, поэтому нужда заставляла вылезать наружу. Но быстро поняли: это самоубийство.

Первый случай был с «Моряком». Он вылез ночью, отошёл на пару метров от входа — и тут же вернулся бегом. Потому что услышал жужжание. Не «Бабы Яги» — другой «птицы», лёгкой, разведывательной. Но лёгкая тоже может сбросить. Может навести. Может просто заметить движение и передать.

— Чуть не обделался в прямом смысле, — сказал он, падая на лежак. — Всё. Больше не пойду.

И не пошёл. Никто из нас не пошёл.

С этого дня мы завели систему. Бутылки. Пластиковые, полторалитровые, из-под воды. Мы их не выбрасывали — мыли и хранили. Пакеты — поплотнее, желательно чёрные, чтобы не видно было содержимого. Всё это стояло в углу блиндажа, и это был наш туалет.

Сначала было стыдно. Вернее — дико, непривычно. Сидишь в двух метрах от товарищей, делаешь свои дела в бутылку или в пакет, и это кажется чем-то невыносимым. Но стыд уходит быстро. Уже на второй день ты не думаешь об этом. На третий — шутишь.

— «Дед», у тебя пакет протекает. Меняй.

— Не протекает. Это конденсат.

— Это не конденсат. Давай новый.

Мы смеялись. Правда, смеялись. Потому что если не смеяться — можно сойти с ума.

У чеченцев было то же самое. Когда мы пришли к ним в первый раз после ночной бомбёжки, я заметил у них в углу целую батарею бутылок. Мансур перехватил мой взгляд и усмехнулся.

— У вас тоже?

— Тоже.

— Это хорошо. Значит, мы не одни такие умные.

Мы сидели, пили чай, а в двух шагах стояли бутылки с мочой. И это было нормально. Это была жизнь.

Днём было легче. Легче — не значит безопасно. Днём «птицы» тоже висели, но видимость у них была хуже: солнце, блики, тени. Мы научились ходить короткими перебежками. От блиндажа до куста — пять секунд. За это время тебя могут заметить, но не успеют отработать. При условии, что «птица» не прямо над тобой.

Но расслабляться нельзя было никогда.

Помню, как однажды «Дед» решил всё-таки выйти. Ну, по-человечески. Он мужик старый, ему эти бутылки поперёк души. Говорит: я быстро. Отошёл за блиндаж, сел. Только начал — слышим: жужжание.

— Дед! — крикнул я негромко. — Давай обратно!

Он чертыхнулся и рванул в блиндаж со спущенными штанами. Заскочил, упал на лежак, матерясь сквозь зубы. «Моряк» ржал так, что у него слёзы текли. «Дед» обижался, но потом тоже смеялся.

— Всё, — сказал он. — Я сдаюсь. Давайте ваши бутылки.

С этого дня он тоже пользовался только ими.

Была у нас и другая проблема — запах. Бутылки и пакеты копились. Выходить наружу, чтобы выбросить, было опасно. Мы ждали темноты, самой глубокой, когда даже «птицы» устают и уходят на подзарядку. Но такое бывало не каждую ночь.

Иногда ждали по два дня. Иногда — больше.

В блиндаже стоял дух. Тяжёлый, кислый, смешанный с запахом пота, солянки и чая. Мы привыкли и к этому. Человек вообще ко всему привыкает.

Однажды «Моряк» сказал задумчиво:

— Вот вернусь домой — месяц буду просто сидеть на нормальном унитазе. С книжкой. С тёплым полом. И чтобы никто не жужжал над головой.

— А я вообще, наверное, забуду, как это делается, — ответил я.

— Не забудешь, — сказал «Дед». — Тело помнит. А вот голова... Голова ещё долго будет помнить другое.

Он был прав. Я знал, что когда-нибудь, через годы, я буду заходить в тёплый туалет, брать в руки телефон или книгу, садиться — и вдруг слышать в голове этот звук. Гудение «птицы». И рука сама будет дёргаться к автомату.

Но пока — бутылки, пакеты, блиндаж, Огурцово. Пока — мы трое и пятеро чеченцев в пятидесяти метрах. Пока — март, который никак не кончится, и небо, которое нам не принадлежит.

Вечером я вышел на связь. Доложил обстановку. Спросил про ротацию.

— Ждите, — ответили коротко.

Мы ждали. И пили чай. И ходили в бутылки. И слушали, как каждую ночь «Баба Яга» утюжит чеченцев. И ждали.

Это было не героическое. Это было бытовое. Но именно из этого состояла война. Не из атак и подвигов — из ожидания, грязи, запаха и бутылок в углу.

И из братьев, которые в пятидесяти метрах от тебя сидят в своём блиндаже и ждут того же самого.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.